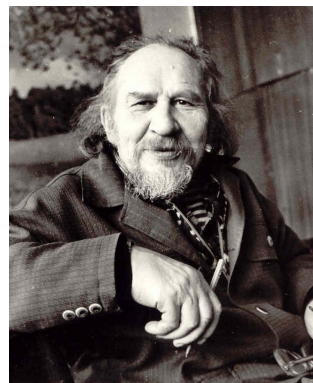


---

## СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ СИБИРИ

*Новую в журнале рубрику ведет зам. главного редактора по сибирским регионам  
Тамара Булевич из Красноярска*

**Вениамин Зикунов**  
(г. Дивногорск Красноярского края)



### ГУНЬКИН ХУТОР

*Вениамин Карпович Зикунов (1937 — 2008 г.г.) родился в селе Антоньевка Алтайского края. Работать начал с 14 лет, был токарем, мастером производственного обучения ПТУ, экскурсоводом, редактором районной газеты. Служил на Тихом океане в морской авиации. Работал в редакции «Красноярский железнодорожник».*

*Первые стихи написал в армии. Позже его стихи, очерки, рассказы публиковались в «Комсомольской правде», в альманахах «Алтай», «Енисей», в журналах «Юность», «Урал», «Сибирские огни», «Смена», «Уральский следопыт», в коллективных сборниках. Автор поэтических сборников «Шелест травы» (1982), «Дни сентября» (1997), прозы — «Все от матери», «Родинские колодцы», «Серезка на веревочке», «Подсолнечные кони», «Никишкины рассказы».*

*Член Союза писателей России. Последние годы жил в г. Дивногорске.*

#### I

У Паньки Матвеева умерла старуха... Панька был малость с дурнинкой от фронтальной контузии, на него иной раз находила блажь, и он в это время все на земле воспринимал легко, радовался, что просто живет на земле, не рвал сердце грустью. Вот поэтому в скорбные дни похорон как во сне жил Панька, молчал, не выронив ни слезинки, а только курил папиросу за папиросой и всем, кто приходил проститься с покойной, сообщал хрипловатым простуженным голосом:

— Слышь, учудила моя Матрена. Ни с того ни с сего коньки отбросила...

И только на кладбище, когда спускали на полотенцах гроб с Матреной в неглубокую глиняную могилу, Панька неестественно сморщился, тоскливо, по волчьему завыл:

— Не уходи-и-и-и, Матрена! Не уходи-и-и-и...

Он с маху, всем своим тщедушным телом рванулся к могильной яме, и, если бы мужики не подхватили его под мышки, упал бы Панька на неостроганный гроб, в кровь бы разбил лицо и руки. Это был искренний мгновенный взрыв тоски, прорва-

шийся наружу из его тихого сердца. Но через минуту на душе у Паньки опять все успокоилось и присмирело.

— Смотри-ка, что делается... Как будто кто-то в спину толкнул. Знать, свяжусь скоро с Матреной,— прошептал он смиренно и, ссутулившись, как мокрый ворон, побрел с кладбища...

На поминках Панька уже совсем успокоился, тянулся рюмкой чокнуться с соседями по столу, пил охотно и много, а под конец печальной трапезы до того окосел, что даже попытался затянуть разухабистую песню:

...Ехала деревня мимо мужика...

Деревенские старухи, прижизненные подружки Матрены, накинулись всей гурьбой на Паньку, пристыдили, с трудом оторвали его дряблое тело от табуретки и унесли на койку в горницу...

На следующий день, когда стихла суতোлка похорон, когда старухи прибрались в избе, сняли покрывала с закрытого зеркала, Панька, совсем больной от перепоя, встал с постели, добрел до умывальника, прямо из соска долго жадно пил воду, грустно матерился. В избе было прохладно и темно, старухи ушли по своим делам: Матренина койка была тщательно убрана, взбитые подушки в розовых наволочках дыбились, словно пасхальные пышки, даже клетчатое покрывало было заправлено по-матрениному в складочку...

— Вот и нет на свете Матрены,— простонал Панька и заплакал.

Он плакал долго, как несправедливо обиженный ребенок, уткнувшись седой головой в краешек кухонного стола.

Власть наплакавшись, Панька решил повеситься: он долго гремел в сенцах пустыми ведрами, пустыми бутылками, оставленными после поминок, но не нашел подходящей удавки.

— Ладно... успеется. Шея всегда при мне — крюк на матице. Поживу еще маленько,— справедливо рассудил Панька и успокоился.

Он снял с вешалки свой синий выходной пиджак. На засаленном лацкане которого колокольцами позванивали три медали: одна настоящая, военная, «За взятие Будапешта», и две юбилейные. Панька стряхнул с пиджака пыль и накинул его на острые плечи. Перед зеркалом он по-гитлеровски на бочок причесал седую, но щетинисто крепкую челку, посмотрел внимательно в свои голубые, замутненные слезой глаза, потрогал зачем-то пальцами синий застарелый шрам на щеке — печальная память о mine, на которой он подорвался в центре венгерской столицы, и нарочито громко, бодро сам себе сказал:

— Мужчина — основа семьи... Я еще не совсем одряб. Пока справный...

Панька вышел на улицу и побрел куда глаза глядят...

Где-то за увалом, выгоревшим от недавней несусветной жары, стрекотал, словно кузнечик, далекий трактор. На высоких заплешинах созрели хлеба. Пахло пожаром и сухой травой.

## II

Ноги сами понесли маленькое тщедушное тело Паньки по пыльной дороге, размеченной зелеными коровьими метками, на окраину села, где чуть в отдалении, кряду, стояли, испуганно спрятавшись в черемушник, покосившиеся без мужских рук три избышки. В них доживали свой век солдатки Манюня Гунькина, Стюра Першина и Аграфена Сурова. Солдаток недолюбливали замужние деревенские бабы, потому что жили вдовы как могли, не гнушались заманивать под хилые крыши блудливых деревенских мужиков, были не дураки выпить и вообще вели себя вольно...

Правда, в последние годы из-за нахлынувшей старости утихомирились, подвляли

солдатки, и уже три лета кряду не было слышно, чтобы кто-то бил у вдов по ревности окна и, заходясь в истошном крике, таскал какую-либо из них за волосы... Но по сей день вечерами и ночами низинной береговой тропкой подкрадываются старые и молодые мужики к домам солдаток, пугливо озираются по сторонам, прислушиваются, как чуткие серны, к каждому шороху. Сзаду, через черемушник, приближаются к какой-нибудь избе, тихо и вежливо стучатся в двери... Чаще всего мужики останавливаются у крыльца Манюни Гунькиной, потому что дом ее ближе к деревне.

— Манюнечка, того, выручай...

Манюня, огромная, широколицая старуха, открывала дверь, и ее голова, словно светлое полнолуние, всплывала над просительно сжавшимся гостем.

— Чего тебе? — спрашивала она басом.

— Помираю, Манюня! Войди в положение...

Манюня настораживалась, прислушивалась к шорохам в черемушнике и спрашивала:

— Ты один?

— Неужто... Мериканских шпиенов обвел вокруг пальца...

Хозяйка молча, как створку большой раковины, со скрипом захлопывала дверь, шарилась в избе, а потом выносил бутылку мутного самогона. Она решительно совала ее в дрожачие от нетерпения руки покупателя, потом неторопливо прятала деньги в огромный лифчик, где у нее покоились одрябшие груди и сбережения за текущий день.

— Сгинь, — шипела Манюня. — Ты у меня не был, и я тебя не знаю...

— Знамо дело... — отвечал благодарно и преданно мужик и исчезал в огородной темени...

С послевоенных времен солдатки, не дождавшись счастья, стали сами его искать в скудной жизни, погуливать и бражничать. Прозвали в селе эти три вдовьих окраинных дома Гунькиным хутором.

Сама Манюня Гунькина, по имени которой имела честь носить звание деревенская окраина, была душой вдовьего общества, тем стержнем, или, как говорят сегодня, лидером, вокруг которого и копнился коллектив. Деревенские мужики, хлебнувшие окопного лиха, душевно тянулись к Манюне, потому что, несмотря на свою крупность, басистость, сохранила она бабью статью, какую-то необъяснимую притягательность. Она была для них словно чистое, без сорняков хлебное поле, неоглядная даль которого щемила сердце грустной загадкой...

Когда выдавались свободные от колхозной работы деньки, Манюня Гунькина заплетала золотую свою косу, укладывала ее кольцами, украшала довоенным перламутровым гребнем и шла в деревенский сельмаг за «чекушкой», заманчиво подрагивая налитым здоровьем кобыльим задом. Бабы, истощенные работой и нехватками, наскоро и неряшливо одетые в замызганные ребячней и скотиной платья, завистливо и ненавидяще смотрели ей в след, ворчали, сплевывая брезгливо в крапиву:

Потаскуха... Разорение наше... Глядеть в оба нужно за своими кобелями...

Манюня врывалась в магазин, заполняла его почти полностью своим крепким и добротным телом, осматривала карим блудливым взглядом пустые полки, не стесняясь насупившихся баб, лезла огромной пятерней в грудной разрез кофточки, доставала из лифчика деньги:

— Чекушку и полкило кильки.

— Гости приехали? — спрашивала ее, ехидно улыбаясь, продавщица Дуська.

— Да... Бог прислал меня в гости на эту землю. Вот и украшаю, чем могу, свое гостевание... Красиво жить никто не запрещал, — как из пушки бухала Манюня и хитро, с чувством собственного превосходства, хохотала.

— Это верно, — соглашалась Дуська, — повеселиться не грех, если в меру, не в ущерб другим. Бабы вот только на тебя в обиде. Разлад из-за тебя, Манюня, в семьях.

Манюня наивно приподнимала крутые плечи, играла двухпудовыми грудями-«Везувиями», готовыми взорваться спелой магмой.

— А что добру-то пропадать, бабоньки. Пусть попользуются фронтовички. На-терпелись они в окопах, намыкались. Я для них, как дом отдыха. Так что не обес-судьте... Не все же ко мне бегают... А только те, у кого жены жалятся. Так что себя вините, бабоньки...

Манюня Гунькина гордо разворачивала свой мощный корпус и, не пряча от люд-ских глаз чекушку и отсыревший бумажный сверток с килькой, не выходила, а вы-плывала из сельмага, словно белотрубный пароход.

Чекушка — это была затравка, пригревка, сигнал для мужичков, что, дескать, вдовый хутор пошел вразнос, загулял и не прочь приютить под скособоченными крышами шалого земляка. После сигнального похода Манюни в магазин замужние бабы настороженно и зло следили за своими сужеными, старались не выпускать их из поля зрения... Но разве удержишь на цепи вольную душу? Как мотыльков свет, при-тягивал мужиков спрятанный в черемушнике Гунькин хутор. Усыпив бдительность жен внезапно нахлынувшей лаской, завидной работоспособностью, мужики посте-пенно добивались их благосклонности и покидали родимые подворья по неотложным делам: кто на рыбалку, кто посмотреть покосы, кто заготовливать дрова на заречной забоке. И все они уходили в сторону противоположную от Гунькиного хутора, и только в безопасном месте круто разворачивали «оглобли» и по береговой низине просачивались к месту дислокации.

Собирались обычно в более просторной избе Манюни, сюда же приходили с за-куской и самогоном вдовы Стюра Першина и Аграфена Сурова. Бабы эти тоже были ничего, но все же прогадывали Манюне Гунькиной и в плотности тела и по женской привлекательности.

Стюра Першина, вертлявая, черная, как цыганка, постоянно подмигивала левым чуть прищуренным глазом, и казалось, что она непрестанно, без выходных, затягива-ет кого-то в свои бабьи сети. Но эта беда осталась у нее после болезни, когда в сорок третьем получила она похоронку на своего ненаглядного Ивана, с которым прожила до войны всего около месяца. Свалилась тогда от смертельной тоски Стюра, переко-сило ей скулу от переживания, а когда поправилась и выровнялась нервная ассимет-рия лица, остался навечно недостаток: как крылья черной бабочки, мигал одиноко и независимо от правого левый глаз. Мужики привыкли к ее недостатку. Не обращали на это внимания...

После пьянки, когда становилось ясно, как распределены роли, кому и с кем оста-ваться на ночь в Гунькином хуторе, а кому с «бородой» возвращаться под родимый кров, очередной ночной ухарь Стюры брал ее под ручку и говорил торжественно и серьезно: «Пойдем, семафор, до твоей избы».

Стюра покорно поднималась из-за стола, подмигивала всей честной компании, и, зардевшись лицом, уходила, чтобы отдаться без спора загулявшему земляку. И какой бы она ни была пьяной, не забывала перевернуть лицом к стене фотографический портрет Ивана, который висел над койкой на длинном ботиночном шнурке...

Аграфена Сурова среди мужиков не пользовалась повышенным спросом, потому что была костиста, широкоплеча, с жилистыми руками. Но и она не была обойдена вороватой лаской, которую потом недодавали изработанные и испитые деревенские мужики своим законным женам.

Но, конечно, душой компании была Манюня — королева красоты Гунькиного хутора. На нее с самого начала гулянки вождленно и с опаской посматривали мужи-ки — ждали, как внезапно свалившегося счастья, ее благосклонности. Манюня за столом не позволяла излишних вольностей, плясала и пела под гармошку, жалобно скрипели от ее плотного тела пол и потолочная матица. Ходили манящими штормо-

выми волнами груди под кофтой... Под конец гулянки, когда приходило время и честь знать, Манюня критически оглядывала гостей, выбирала для себя того, кто по-резвее. И говорила счастливчику:

— Ты останься... В избе поможешь убрать...

Незанятые вдовами мужики выпивали «на посошок», нехотя поднимались, кряхтели, поглядывая с завистью на Манюниного избранника, и, рассредоточившись по-фронтному, исчезали в темени. И не было никаких обид и склок среди блудливых мужиков деревни, потому что знали они: не обломилось сегодня, улыбнется фортуна в следующий раз. Капризы Манюни были неожиданные и выбор ночного «помощника» непредсказуем... В напряжении, в загадке, в тревожном ожидании счастья держала Манюня приبلудных гостей...

Однажды, это было на сороковой день после смерти товарища Сталина, устроила Манюня поминки неожиданно усопшего, но навсегда оставшегося жить в сердцах вождя. Сначала пили молча, не чокались по-глупому стаканами, говорили о великих заслугах Иосифа Виссарионовича, вздыхали, но постепенно разошлись, забыли про праведную грусть, запели песни. Манюня, подперев бока руками, прошлась павой в мелком переплясе по избе и на плясовом ходу справедливо заметила:

— Все помрем... Но в мавзолей не вместимся — там двоим тесно...

Поминки товарища Сталина подходили к концу, и Манюня, обзрев собравшихся мужиков оценивающим взглядом, остановила свой блудливый взор на Паньке Матвееве:

— Останешься помочь в избе. А остальные — с Богом. Помянули вождя для душевного очищения. Отдали уважение...

От неожиданности Панька даже выронил ложку с квашеной капустой на стол, глупо хихикнул.

— Вот так-то,— сказал он в спины понуро уходивших из избы мужиков...

И уже потом, после всех дел и уборки, зарывшись острым щетинистым подбородком в огромные плотные груди Манюни, страстно стискивая руками ее бедра, спрашивал, задыхаясь от счастья, Панька:

— Неужели ты вся моя?

— Нет, не твоя я, Панька, не твоя... Я — ничья... Я — колхозная, обобществленная...

— А почему ты меня выбрала из всех? Сладость ты моя, золотаюшка...

— Раненый ты, Паня... Ущербный... Тебе для памяти нужно иметь солнышко в сердце. Вот я и буду твоим солнышком. Вспомнишь обо мне и тепло на душе станет...

Больше никогда Манюня не оставляла Паньку Матвеева в избе, другим, более здоровым мужикам отдавала предпочтение, но память об этой единственной и сладкой ночи осталась навсегда жить в душе старого солдата: то жалила, как крапива, когда он уходил отвергнутый с Гунькиного хутора, то грела теплом, когда он с тайной надеждой шел на гулянку во вдовьи дома... Неоднократно ночевал Панька у Стюры Першиной и Аграфены Суровой. Но это не то. Нет, не то... Ночь, проведенная с Манюней на сороковой день после смерти вождя, застыла в сердце, как яркая звезда на черном печальном небе Панькиной жизни... и когда позже свалили вождя с пьедесталов, обхаяли с высоких и низких трибун, Панька все равно не терял веру в товарища Сталина, потому что образ вождя слился в контуженной его голове с образом Манюни.

### III

Вот и понесли ноги легкое, как воронье крыло, тело Паньки на Гунькин хутор. Не было у него никаких мыслей и планов. Он шел на край деревни без корысти, просто какие-то непонятные магнитные нити тянули его, как железную пылинку, к Манюне...

Деревня опустела, люди работали: кто на уборке колхозного урожая, кто в своем огороде, и только ребятня, взбив пыль босыми ногами, носилась, как угорелая, по улице, радостно щебетала от избытка счастья. В детскую зеленую пору нет тягостных дум, а есть только необузданная жажда жизни и одуванчиковая легкость в сердце. Панька завистливо слушал детский щебет, прижимался по привычке к тени заборов, в такт шагам легко и напевно играли бронзовые колокольца медалей на лацкане пиджака.

— Войны, дай Бог, не было бы,— шептал Панька.— Пацанва вот эта хоть бы лучше нас прожила. Корябает война всех разбору, выдирает тигрицей наизнанку душу...

Манюня Гунькина обирала черемуху, она стояла на табуретке и, нагнув ветку к груди, свободной рукой ловко рвала жирную ягоду. Ягоды беззвучно падали в ведро, словно черная икра...

Манюня, конечно, стала далеко не та, что была раньше: круглые когда-то плечи обмякли, опустились. Всем корпусом потяжелела Манюня, как устаревший, но гордый еще корабль, подготовленный к списанию на металлолом.. Но все же кое-что осталось у Манюни от прежнего богатства: икры ног были по-молодому крепкие и сметанисто белые, грудь хоть и раскиселилась и опустилась ниже к животу, но еще не совсем одрябла и скукожилась, она манила двумя разнеженными взбитыми подушками страждущую душу положить на них усталую голову, отдохнуть и забыться. Белый когда-то волос стал пепельным, но коса по-прежнему была тугой и по-прежнему подколотной усталой змеей лежала на породистой голове.

Панька взволнованно остановился у калитки и с замиранием сердца смотрел на Манюню. Казалась она ему молодой и белотелой, как тогда в постели после поминок Сталина. И все забыл на свете Панька: про похороны Матрены, про то, как пытался найти веревку, чтобы удавиться и навсегда уйти из этой жизни. Видел он только одну Манюню и шептал, шептал пересохшими губами:

— Сладость ты моя, золотаюшка...

Манюня заметила Паньку, опустила ветку черемухи в белесое осеннее небо, сказала мягким басом:

— Проходи в избу. Что стоишь, как сиротка...

В избе Панька скромно сел на лавку рядом с умывальником, вздохнул:

— Вот так и живем... А я вчера Матрену похоронил...

Манюня присела рядом с Панькой, как несмышленища, погладила по щетинистой голове:

— Все там будем... Царство ей небесное. Виновата я перед Матреной...

— А в чем виновата?... Оставила когда-то ночевать? Так это, Манюня, не грех. Потому что не казнил я после этого душой, а жил памятью об этой ночи. Счастье ты мне дала. Грешные люди на счастье не щедрые...

Манюня поспешно встала со скамейки, нагнулась уточкой, открыла крышку подполья, достала с верхней приступки грязную бутылку самогона.

— Помянем Матрену,— сказала она, вытирая бутылку влажным полотенцем.

— Может, не надо? — нерешительно спросил Панька и придвинул скамейку ближе к столу.

Манюня молча поставила на стол закуску: малосольные огурчики, хлеб, отварную картошку, красной горкой уложила на тарелку нарезанные спелые помидоры. Выпили, не чокаясь, по рюмке. Потом еще. Разговор не клеился.

— Проходит жизнь, проходит,— сказа Панька.

— Почти отдежурили на земле,— поддержала его Манюня.— А счастья не видели... Все, как в тумане... Жили, словно на вокзале... Ты ешь, исхудал весь...

Манюня пододвинула ближе к Паньке тарелку с рассыпчатой картошкой. Панька взял одну, пожевал, с трудом проглотил:

— Что-то нет аппетита. В последнее время жомкаю что попада. Не ем, как люди, вот и нарушил аппетит...

Паньке было хорошо в избе, легкость какая-то легла на душу, как будто жил он у Манюни всегда, не расставался с ней всю жизнь.

— Пенсия у меня хорошая. Сама знаешь, работал в быткомбинате, сапожничал. Вот и заработал высокую пенсию...

Манюня ничего не ответила и только вздрогнула гордой головой, ласково улыбнулась...

Пить больше не хотелось ни Паньке, ни Манюне. Вышли на улицу, сели в прохладе черемухи на скамейку. Маленький тщедушный Панька рядом с Манюней казался подростком. Телок поднялся с обочины дороги, подошел вплотную к скамейке, смотрел на людей влажными и грустными глазами.

Сидели долго. Панька курил папиросу за папиросой, ждал ответа...

— Легкие зря рвешь,— пожалела его Манюня.

— Ничего... Они привычные к табаку. Прокоптились...

Солнечные лучи пробивались сквозь листья черемухи, и яркие блики трепетали на лицах Паньки и Манюни. И казались они подвижными и смешливыми...

Шаркая усталыми ногами, подошли и сели на скамейку соседки Стюра Першина и Аграфена Сурова.

— Осиротел, Панька? — жалостливо спросила Аграфена.

— Если с одной стороны, то верно. Если с другой, то как знать,— ответил Панька и посмотрел на Манюню.

— Ничего, все проходит... И ему полегчает на душе. Не один остался — люди рядом,— поддержала Манюня...

— Оно конечно,— сказала Стюра Першина и подмигнула зовущее Паньке болезненным черным глазом...

Мимо Гунькиного хутора пацанва гнала лошадей на водопой. Уцепившись руками в гривы, трепыхались, как легкие листочки, всадники на лошажьих спинах. Лошади, взбешенные жарой, дико ржали, взбрыкивали, кусали друг друга за ляжки. Но крепко, надежно, клещисто присосались к лошадям пацаны, положив вихрастые головы на жесткие гривы...



**Галина Рукосуева**  
(г. Красноярск)



## **СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ**

*Галина Петровна Рукосуева родилась в Изгарке. В Красноярске живет с 1948-го года. Ее творчество в основном посвящено детям.*

### **ХРЮШИН ПЯТАЧОК**

Рано утром после душа,  
«Пятачком» сияет Хрюша.  
Шел, споткнулся, в грязь упал,  
«Пятачок» свой потерял.

Целый день искал он в луже,  
И домой пришел под ужин...  
Стол накрыт, хотел он сесть...  
«Ох, устал, хочу я есть.

Мама, у меня нет нюха.  
Как же мне насытить брюхо?»  
«Хрюша, глупенький ты мой,  
Мордочку пойди, умой».

Хрюша взял в копытце мыльце,  
Чисто вымыл губкой рыльце,  
Вновь сияет «пятачком»,  
От восторга хвост крючком.

### **КОСОЛАПЫЙ МИШКА**

У медведицы спросил  
Маленький сынишка:  
«Волк вчера меня дразнил —  
Косолапым мишкой.

Вперевалочку идут  
Утки друг за другом.  
Почему меня зовут  
Косолапым другом?»



«Не грусти. Быть веселей,  
Дружба помогает.  
Ведь неважно для друзей,  
Кто и как шагает».

### **ДЫРЯВЫЕ КАРМАНЫ**

У меня в карманах клад.  
В них сокровища лежат.  
Вещи все полезные,  
Разные, железные.  
Почему карманы рвутся?  
Может, вещи в них дерутся?

### **ПОДЕЛИЛ**

Встала баба спозаранку,  
Внуку испекла баранку,  
Подрумяненный бочок.  
— С другом поделись внучок.  
Съел Андрюша половинку,  
Другу отдал серединку.  
Бублик как Андрей делил?  
Честно ль с другом поступил?

### **ПЕРЕХОД**

Нескончаемой лавиной,  
По дороге мчат машины.  
Но, как грозный постовой,  
Светофор мигает: «Стой!»

Строго взглянет красным глазом —  
Тормозят машины разом.  
Пешеходам путь открыт —  
Им зеленый свет горит.

Всех зовет пройтись немножко  
Полосатая дорожка.  
«Зебру» знает весь народ,  
Называют «ПЕРЕХОД».

### **РУКИ ВАЖНЕЕ**

Мне во сне частенько снится,  
Что подпрыгну и лечу.  
В небеса взлететь, как птица,  
Я давно уже хочу.

Иль нырнуть в глубины моря,  
В лабиринты тайников,  
Плывать рыбкой на просторе.  
Жаль, что я без плавников.

Так устроена природа:  
Есть у рыбки плавники,  
Крылья птице для полета,  
У людей же — две руки.

Берегут меня от скуки,  
Любят строить, рисовать,  
А еще нужны мне руки,  
Чтобы маму обнимать.

### **У КАЖДОГО ЕСТЬ СВОЯ МАМА**

У лошадки спросил жеребенок:  
«Это правда, что я твой ребенок?  
Я зову тебя мамой с рожденья.  
А козленок вчера без стеснения,  
Звал козу, словом ласковым — мама.  
Со слезами твержу я упрямо:  
— Ну не может быть мама козою.  
Знаю маму безрогой, другою».  
Тут теленок мычит: «Мама, мама.  
Погляди из цветочков панама.  
Ты примерь ее, мама, на рожки.  
Он к корове бежит по дорожке».  
Жеребенок подумал немного:  
«Это странно, но мам столько много.  
Ты скажи мне, лошадка, скорее:  
Чьим же сыном считаюсь теперь я?»  
Улыбнулась лошадка сынишке:  
«Как же глупы порой ребяташки!  
Дорогой мой, скажу тебе прямо,  
Что у каждого есть своя мама».

### **КТО НЕСЕТ ЯЙЦА?**

Кто ответит? Что за птица  
Яйца носит, не ленится,  
Чтоб глазунью и омлет  
Ели дети на обед?

— Мама,— произносит Зина,—  
Ведь вчера из магазина  
Тридцать беленьких яиц  
Принесла она для птиц.

— Разве птица ваша мама?  
Зина все ж твердит упрямо:  
— Папа ласточкой не раз  
Маму называл у нас.

Он для мамы — сокол ясный.  
Я же — птенчик их прекрасный.  
И потом, мы все втроем,  
В нашем гнездышке живем.

### АРБУЗ

С виду круглый, словно мячик.  
Почему лежит не скачет?  
Для детей он, ради шутки,  
Летом ходит в толстой шубке.  
От жары он раздувался,—  
Зеленел и зазнавался.  
Папа всем сказал: «Ну, что же —  
В руки взял большущий ножик.—  
Вот тебе Андрюша долька,  
Посмотри веснушек сколько.  
Тут арбуз, как рассмеялся,  
Слезно соком обливался,  
Изнутри весь покраснел,  
Потому что переспел.

